



Щербаков - хозяин Москвы

Владимир Абахов

Владимир Маринин

Щербаков - хозяин Москвы

«Автор»

2026

Маринин В.

Щербаков - хозяин Москвы / В. Маринин — «Автор», 2026

Это документальное повествование об Александре Сергеевиче Щербакове — «хозяине Москвы», чья фигура долгие годы оставалась в тени за яркими силуэтами маршалов и вождей. Накануне Великой Отечественной войны и в самые страшные её дни именно на его плечи легла чудовищная тяжесть ответственности за столицу. Книга восстанавливает хронологию подвига, который не попадал в сводки новостей: налаживание обороны в панические месяцы 1941 года, организация легендарного парада 7 ноября на грани человеческих возможностей, создание Совинформбюро — голоса советской пропаганды, — и титаническая работа по снабжению фронта в Битве за Москву. Читатель увидит обратную сторону войны — не только стратегические карты, но и борьбу с паникой, холодом и голодом в городе, который оказался на осадном положении. Автор рассказывает о феномене «трёх шляп»: как один смертельно больной человек умудрялся совмещать посты секретаря МГК, главы ГлавПУРа и начальника Совинформбюро, работая до последнего удара своего сердца.

© Маринин В., 2026

© Автор, 2026

Владимир Маринин

Щербаков - хозяин Москвы

Глава 1: «Хозяин Москвы на пороге бури»

В конце мая 1941 года Москва напоминала гигантский растревоженный улей. Город жил в странном, нервном ритме: по ночам над окраинами всё чаще гудели моторы — лётчики ПВО отрабатывали перехват «вражеских бомбардировщиков», а днём по Садовому кольцу бесконечной чередой тянулись грузовики с мешками песка, досками и листами жести. Строились бомбоубежища. И строили их из рук вон плохо.

Александр Сергеевич Щербаков, первый секретарь Московского комитета и Московского городского комитета партии, сидел в своём кабинете на Старой площади и перечитывал сводку, от которой стыла кровь. Не от страха — от бессильной злости. Проверка, проведённая его людьми в двадцатых числах мая, показывала: из четырёх с лишним тысяч запланированных убежищ готово чуть больше трети. В большинстве домов рабочие лишь начали копать котлованы. Где-то не хватало цемента, где-то — квалифицированных рук, а где-то управдомы попросту забили на приказы из центра. Щербаков резко выдохнул, взял красный карандаш и на полях доклада вывел: «К 5 июня — лично проверить Замоскворечье и Лефортово. Виновных — к ответу». Он знал цену этим бумагам. Через неделю отчёт ляжет на стол к Берии, а тот, если найдёт нестыковки, может и самому Щербакову припомнить «недостаточную бдительность». Ирония судьбы: партийный босс Москвы, человек, которого Сталин называл «хозяйственным от бога», вынужден был выбивать мешки с песком у собственных подчинённых, как в очереди за селёдкой.

Щербакову было сорок лет. Крупный, грузноватый, с тяжелым взглядом из-под насупленных бровей, он казался старше. И это впечатление усиливала странная, почти болезненная бледность лица — следствие гипертонии, которую он усердно лечил бессонницей и бесконечным кофе. Говорили, что Щербаков спит по четыре часа в сутки и при этом помнит номера всех московских заводов, фамилии директоров и количество выпущенных за смену снарядных гильз.

Формально Москва в мае 1941 года не воевала. Неформально — вся экономика города уже работала на оборону. Заводы «Серп и молот», «Красный пролетарий», авиационный № 22, подшипниковый ГПЗ-1 — они перешли на трёхсменный режим ещё в начале года. Щербаков каждое утро начинал не с партийных лозунгов, а с цеховых сводок. Если на заводе имени Сталина падал план по моторам для МиГ-3, в девять утра в кабинете секретаря появлялся директор. Щербаков не кричал. Он задавал один вопрос: «Что нужно, чтобы исправить?» — и ставил резолюцию, которая пробивала любую стену снабжения. Но этого было мало. Щербаков видел то, что другие предпочитали не замечать: страна готовилась к большой войне, но готовилась вслепую. Эвакуационные планы для заводов, которые лежали в сейфах его комитета, были написаны настолько общими фразами, что в случае реального налёта грузить станки в эшелоны пришлось бы под бомбами, без карт и без понятия, куда везти. Он требовал от председателя Моссовета Пронина конкретики: «Где эшелоны? Где пути отката? Где люди, которые поведут заводы на Урал?» Пронин разводил руками: «Пока нет указаний сверху». «Сверху» молчали. И это молчание было страшнее любого приказа.

Противовоздушная оборона столицы была отдельной головной болью Щербакова. По документам — всё прекрасно. 600 зенитных орудий, 1500 пулемётов, аэростаты заграждения, три кольца прожекторных батарей. По факту — половина расчётов укомплектована девушками-комсомолками, которые прошли двухнедельные курсы и в жизни не стреляли по реальной цели. Щербаков сам выезжал на учения в Бутово и видел, как зенитчицы панически крутят штурвалы, пытаясь поймать в перекрестье буксируемый щит. «Имитация, а не оборона»,

— бросил он тогда начальнику штаба МПВО. Самым вопиющим было положение с бомбоубежищами. В докладе, который Щербаков отправил Сталину 3 июня 1941 года, прямым текстом говорилось: «В случае массированного налёта авиации противника на Москву укрытиями будет обеспечено не более 60% населения. Особо тяжёлая ситуация в центре и в рабочих общежитиях». Сталин наложил резолюцию: «Тов. Щербакову — принять срочные меры». Какие именно меры — вождь не уточнил. И Щербаков принял их. Он запустил настоящий «строительный конвейер»: в каждом районе создали аварийные бригады, в которые загнали студентов, домохозяек и даже заключённых с ближайших строек. Цемент и лесоматериалы реквизи- ровали со складов «Мосстройснаба» под личную ответственность секретаря. За две недели до войны удалось поднять готовность убежищ до восьмидесяти процентов. Цифра всё равно была катастрофической, но Щербаков знал: если немцы начнут бомбить завтра, он сделал всё, что мог.

Самым трудным было не железо, не бетон — люди. Москва весной 1941 года была городом слухов. Их передавали шёпотом в очередях за хлебом, в коммуналках, в трамваях. «Германия выставила на границе двести дивизий», «Сталин уехал в Куйбышев, боится», «Нас бомбили уже три дня, просто скрывают». Слухи множились, как черви в сыром мясе. Щербаков понимал: если не дать людям твёрдой, спокойной информации, паника начнётся задолго до первого взрыва. Он приказал редакторам всех московских газет печатать на первой полосе чёрным по белому: «Сообщения о панике — провокация». Но сам, проходя мимо очередей у гастрономов — молоко, крупа, спички, всё уходило мгновенно, — чувствовал ледяной ветер страха. Однажды вечером, в середине июня, к нему в кабинет ворвался секретарь по пропаганде и прошептал: «Александр Сергеевич, в МГУ студенты лекции бойкотируют. Говорят: "Зачем учиться, если всё равно завтра война?"». Щербаков побелел так, что секретарь испуганно замолчал. «Соберите актив. Завтра в десять утра я буду в университете. Лично». Он вышел на трибуну главной аудитории, посмотрел на полторы тысячи застывших лиц — молодых, испуганных, наглых — и сказал тихо, так что все замолчали, ловя каждое слово: «Паникёров и трусов страна не прощает. Никогда. Завтра вы пойдёте на лекции. И послезавтра. А если враг придёт, вы возьмёте винтовки. Но не раньше. Ясно?» В аудитории стояла тишина. Потом кто-то хлопнул в ладоши, неуверенно, потом ещё один. Щербаков кивнул и ушёл, тяжело опираясь на поручни. В коридоре он вытер взмокший лоб и сказал сопровождающему: «Они не верят. И я их не виню. Мы сами ещё не верим».

Двадцать первого июня 1941 года, в субботу, Щербаков вернулся домой на улицу Грановского поздно, после двенадцати ночи. Жена Вера Константиновна уже спала. Он прошёл на кухню, налил себе чаю, сел у окна. За стеклом — тёплая летняя ночь, тишина. Где-то вдалеке ухнул филин, и этот звук показался Щербакову зловещим. Он достал из внутреннего кармана кителя свежий доклад из погранвойск — короткую, ёмкую бумагу, где сообщалось, что «напротив всей западной границы отмечено сосредоточение крупных соединений вермахта». Обычная разведсводка. Таких были десятки. Но что-то кололо внутри — тупая, ноющая боль под левой лопаткой. Щербаков принял таблетку валерьянки, выключил свет и лёг на диван в кабинете. Он не раздевался. Завтра, двадцать второго июня, он проснётся в четыре утра от того, что завоет телефон — и голос из Кремля скажет ледяным шёпотом: «Война, Александр Сергеевич. Приезжайте». И он поедет. И будет работать так, как не работал никто в этом городе. Потому что Москва — его город. И он не отдаст его врагу. Даже если придётся умереть. Но это будет завтра. А пока — тишина. Последняя ночь мира.

Глава 2: «22 июня: перелом режима»

Телефон завыл ровно в три сорок пять. Щербаков не спал — он лежал с открытыми глазами в полной темноте, глядя в потолок, и слушал, как бьётся сердце. Тяжёлое, больное сердце, которое последние месяцы напоминало о себе глухой ноющей болью под левой лопат-

кой. В трубке голос — сухой, официальный, незнакомый — произнёс всего три слова: «Товарищ Щербаков, война». И гудки. Он не переспросил. Не спросил, кто звонит. Не спросил, где и когда. Встал, нашарил на стуле китель, натянул сапоги. Вера Константиновна заворочалась в спальне, но он не стал её будить. Зачем? У неё ещё будет время узнать. У всех ещё будет время.

Машина ждала у подъезда. Москва спала — та самая тишина, которую он так боялся нарушить, теперь казалась зловещей. По пути на Старую площадь Щербаков заставил водителя остановиться у газетного киоска на Горького. Киоск был закрыт, разумеется. Он выругался сквозь зубы — глупая, ненужная привычка, хвататься за газеты, когда мир рушится. В кабинете на Старой площади уже горел свет. Секретарша Лидия Петровна, бледная, с красными глазами, молча подала стакан чая. Он не взял. Схватил трубку ВЧ и набрал кремлёвский номер. Ответили не сразу.

Сталин был на Ближней даче. Говорил глухо, медленно, как сквозь вату: «Товарищ Щербаков, в городе немедленно ввести военное положение. Проект указа — к девяти утра. Мобилизация — по плану. И чтоб ни одной паники». Щербаков ответил: «Есть». Положил трубку и впервые за эту ночь почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Не от страха — от чудовищной тяжести того, что только что принял на свои плечи. Военное положение в Москве. В Москве, которую он привык считать самым мирным, самым защищённым городом на земле.

В четыре тридцать он собрал экстренное заседание бюро МК и МГК. Люди входили в кабинет растерянные, с помятыми лицами, многие в тех же костюмах, в каких встречали субботний вечер. Никто не спал. Никто не знал подробностей — только то, что передало радио в четыре утра: «Внезапное нападение германских войск на нашу границу». Ни слова о масштабах, ни слова о потерях. Щербаков поднялся из-за стола и зачитал проект указа о введении военного положения. Голос его был ровным, почти спокойным. Он запретил себе срываться, кричать, бить кулаком по столу. Сейчас каждое его слово должно было весить в десять раз больше обычного. Потому что эти люди — секретари райкомов, председатели райисполкомов — разойдутся по городу и будут говорить с тысячами. Если они увидят страх в его глазах, Москва рухнет за сорок восемь часов.

Указ подписали в семь утра. Через час его расклеивали на всех перекрёстках: «В целях обеспечения обороны страны и общественного порядка... воспрещается выход на улицу с 0 до 5 часов... нарушители привлекаются к ответственности вплоть до расстрела». Эти слова печатали крупным, жирным шрифтом, чтобы было видно издалека. Щербаков лично правил вёрстку в типографии на Правде, стоя над плечом наборщика, и когда тот, молодой парень в засаленной спецовке, спросил дрогнувшим голосом: «Александр Сергеевич, неужели... расстреливать будем?», Щербаков посмотрел на него так, что парень прикусил язык. «Будем, — сказал он. — Если потребуется. А ты работай».

Двадцать второе июня оказалось воскресеньем. Это был подарок судьбы и одновременно проклятие. Подарок — потому что заводы не работали, и ненужно было эвакуировать станки под бомбами, которых ещё не было. Проклятие — потому что улицы заполнили толпы. Люди вышли из домов, как будто хотели убедиться собственными глазами: война — это не слух, не сплетня в очереди за хлебом, это правда, которая висит над городом чёрным невидимым облаком. Щербаков объезжал город в своей машине — без флажков, без охраны, только шофёр и адъютант. Он видел очереди у военкоматов. Мужчины — от мальчишек с ещё не пробившимися усами до стариков с георгиевскими крестами на выцветших гимнастёрках — стояли молча, не толкаясь, не ругаясь. Город готовился к чудовищной, непонятной работе, и в этой готовности Щербаков вдруг увидел то, чего не замечал раньше: странное, почти пугающее спокойствие. Москва не паниковала. Москва зверела.

В полдень выступил Молотов. Щербаков слушал речь по радио у себя в машине — прижался ухом к чёрному репродуктору на приборной панели и услышал то, что заставило его похолодеть: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Слова были пра-

вильные, стальные, но голос Молотова — глухой, с паузами, которых раньше не было, — выдавал то, что не предназначалось для эфира. В Кремле тоже не спали. В Кремле тоже боялись. И от этого осознания Щербакову стало не легче, а тяжелее. Потому что теперь он знал: спасать город придётся самому. Без подсказок сверху. Без чуда.

Он вернулся на Старую площадь к трём часам дня и первым делом вызвал начальника московской милиции. Тот, полковник Романов, доложил коротко и по-военному чётко: задержано восемьдесят семь человек, распространявших панические слухи. Семеро — с листовками, напечатанными на немецком языке. Щербаков приказал изолировать всех без исключения, а листовки отправить в НКВД на экспертизу. «И ещё, — добавил он, когда Романов уже взялся за дверную ручку. — Поставьте патрули на всех вокзалах. Чтобы ни один дезертир из города не ушёл. И чтобы ни один военный, потерявший свою часть, не шатался по улицам. Всех — в сборные пункты». Романов козырнул и вышел. Щербаков остался один. Посмотрел на карту Москвы, висевшую на стене. Красные флажки на ней пока ничего не означали. Но он уже знал, что через месяц, через два эти флажки придётся передвигать. И передвигать их будут не на восток.

Вечером того же дня в кабинет без стука вошёл секретарь по промышленности. Лицо у него было серое, как мешковина. «Александр Сергеевич, на заводах люди не уходят. Рабочие — те, кто пришёл по повесткам, — не хотят расходиться по домам. Говорят: "Раз война, будем работать, пока не упадём"». Щербаков не улыбнулся. Он знал эту эйфорию первых дней — опасную, пьяную, которая кончается ровно в тот момент, когда приходят первые похороны. Но сейчас он не имел права её гасить. Сейчас любая энергия, даже самая истеричная, была на вес золота. «Пусть работают, — сказал он. — Организуйте им ночлег прямо в цехах. И питание — через заводские столовые, без карточек пока. Завтра доложите, сколько дали сверх плана».

Он отпустил секретаря и снова остался один. За окном темнело — первая военная ночь опускалась на Москву. Город затемнялся впервые. Щербаков подошёл к окну и увидел, как напротив, в жилом доме, женщина задерживает шторы чёрной бумагой — криво, торопливо, но старательно. Где-то вдалеке проехал грузовик с потушенными фарами. Тишина. Он вдруг подумал о том, что завтра утром нужно будет решать тысячу дел, о которых сегодня он даже не вспомнил. Хлеб. Карточки. Бомбоубежища. Эвакуация детей. Мобилизация коммунистов. Десять тысяч. Сто тысяч. Сто миллионов мелочей, из которых складывается война. Он сел за стол, достал чистый лист бумаги и начал писать список. Ручка скрипела, пальцы слушались плохо — слишком сильно сжимал. В четвёртом часу утра он положил голову на руки и провалился в тяжёлый сон без сновидений. Через два часа зазвонит телефон, и всё начнётся сначала. Но эти два часа — они принадлежали только ему. Первые тихие минуты войны, когда Москва ещё дышала. Ещё дышала.

Глава 3: «Великая эвакуация»

Сентябрь сорок первого выдался на Москву тревожным и сухим. Листья на бульварах желтели и опадали раньше срока, и этот ранний золотой упадок казался дурным знаком. Щербаков теперь почти не бывал дома. Он ночевал на Старой площади, в маленькой комнате за кабинетом, где стояла железная койка, покрытая солдатским одеялом, и платяной шкаф. Каждое утро он просыпался от того, что телефон начинал трезвонить, не умолкая, словно сотни голосов прорывались сквозь мембрану одновременно. Он не жаловался. Он вообще перестал жаловаться ещё в июле, когда понял, что жалобами войну не остановить.

В первых числах сентября к нему в кабинет вошёл председатель Моссовета Пронин. Лицо у Василия Пронина было серое, осунувшееся — он тоже не спал, тоже тащил на себе неподъёмный воз. Пронин положил на стол Щербакову докладную записку, подписанную начальником управления по эвакуации. Цифры были страшными. За два с половиной месяца из Москвы вывезли чуть больше миллиона человек — в основном женщин, детей, стариков. Но в городе

оставалось ещё почти три миллиона. А главное — оставались заводы. Тысячи станков, которые нельзя было бросить врагу.

«Александр Сергеевич, — сказал Пронин, опускаясь на стул, — нам нужно вывозить предприятия. Иначе, когда немцы подойдут, мы останемся и без рабочих рук, и без вооружения».

Щербаков молчал. Он прекрасно понимал, о чём говорит Пронин. Эвакуация заводов — это не просто погрузить станки в вагоны и отправить на восток. Это тысячи тонн металла, сотни километров кабеля, десятки тысяч квалифицированных рабочих, которых нужно увезти вместе с оборудованием, чтобы они могли запустить производство на новом месте. Это документы, чертежи, патенты, запасы сырья. Это железнодорожные составы, которых не хватает. Это паровозы, которые ломаются на полпути. Это бомбёжки, под которые попадают эшелоны.

«Я знаю, — ответил Щербаков. — Я уже говорил со Сталиным. Он дал добро. Но мы должны сделать это быстро. Очень быстро».

Он поднялся из-за стола, подошёл к карте, висевшей на стене. Красные стрелы, обозначавшие немецкие танковые клинья, уже упирались в Вязьму и Брянск. До Москвы оставалось меньше трёхсот километров.

Десятого сентября вышло постановление ГКО за подписью Сталина. Щербаков и Пронин, как авторы докладной записки, добились главного — эвакуация детей из Москвы объявлялась обязательной и немедленной. Но это было только начало. Самое страшное началось через месяц, когда фронт рухнул окончательно.

Пятнадцатого октября Щербаков получил из Кремля пакет с грифом «Совершенно секретно. Особой важности». В пакете лежало постановление ГКО за номером 801, подписанное Сталиным в тот же день. Текст был коротким и ледяным. «Ввиду неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной линии, Государственный Комитет Обороны постановляет: поручить тов. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в Куйбышев. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с заместителем председателя Совета Народных Комиссаров тов. Молотовым». В скобках стояла приписка, от которой у Щербакова перехватило дыхание: «Тов. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке».

Последний пункт постановления касался его лично: «В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД (тов. Берия и Щербакову) произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также всего электрооборудования метро (исключая водопровод и канализацию)».

Щербаков перечитал этот пункт трижды. Взорвать метро. Взорвать заводы. Оставить городу воду — и больше ничего. Он представил себе это: грохот взрывов в подземке, рушащиеся своды станций, которые строились с таким трудом, дым, пыль, паника. И тут же одёрнул себя. Не время для картинок. Он сложил постановление в сейф, набрал номер Берии. Тот ответил после первого гудка. Коротко, сухо: «Готовьте списки объектов. Завтра утром — ко мне». Щербаков положил трубку и почувствовал, как сильно болит голова. Он не помнил, когда в последний раз нормально ел. Кажется, ещё вчера адъютант приносил ему тарелку супу, но он так и не притронулся.

Шестнадцатое октября стало днём, который Москва запомнила навсегда. Слух об эвакуации правительства распространился со скоростью лесного пожара. Люди хватали узлы, чемоданы, детей и бежали к вокзалам. Метро не работало — его готовили к взрыву, и эта новость добила тех, кто ещё сохранял остатки спокойствия. На Казанском, Ленинградском, Ярославском вокзалах творилось невообразимое. Толпы в тысячи человек штурмовали поезда, залезали на крыши вагонов, цеплялись за буфера. Женщины плакали, дети кричали, мужчины ругались и дрались за места. Кто-то уезжал на товарняках, кто-то — на грузовиках по шоссе Энтузиастов. Пешие колонны растянулись на километры.

Щербаков выехал на улицы в середине дня. Он увидел то, что никогда не забудет: закрытые магазины, разбитые витрины, брошенные машины посреди мостовых. На Горького какая-то женщина в растерзанном пальто сидела прямо на тротуаре и, раскачиваясь, прижимала к груди пустой детский саквояж. Рядом стоял милиционер с побелевшим лицом и не знал, что делать. Щербаков велел шофёру остановиться, вышел из машины. Милиционер вытянулся, узнав его.

«Что здесь произошло?» — спросил Щербаков, кивнув на женщину.

«Да она... — милиционер замялся. — Ребёнка потеряла, товарищ секретарь. В сутолоке. На вокзале».

Щербаков подошёл к женщине, присел перед ней на корточки. Она подняла на него мутные, ничего не видящие глаза. Он хотел сказать что-то ободряющее, но слова застряли в горле. Что он мог сказать? Что её ребёнка найдут? Что всё будет хорошо? Он не знал этого. Он вообще ничего не знал в эти часы. Он только молча положил руку ей на плечо, потом встал и пошёл обратно к машине. Спина у него была прямая, но адъютант, который видел его каждый день, заметил, как мелко дрожат пальцы, когда Щербаков брался за дверную ручку.

Вечером того же дня Сталин собрал всех в Кремле. Щербаков ехал на заседание, готовясь к самому худшему. Он знал, что в городе творится паника, знал, что из Москвы сбежали сотни руководящих работников — по некоторым данным, до восьмисот человек, прихвативших с собой казённые машины и деньги. Он знал, что секретари райкомов, которые должны были организовывать оборону, оказались в Горьком уже семнадцатого октября. И он знал, что Сталин всё это знает.

В квартире Сталина на улице Грановского, куда они приехали вместе с Прониным, царила тяжёлая, свинцовая тишина. Берия, Маленков, Микоян, Каганович сидели на стульях, понутив головы. Никто не решался заговорить первым. Сталин ходил по кабинету, покуривая трубку, и молчал. Потом остановился, посмотрел на Щербакова. Взгляд был тяжёлый, испытующий.

«Что в городе, товарищ Щербаков?»

Щербаков выдохнул. Он мог бы сказать правду — всю, без утайки. Мог бы рассказать о панике, о бегстве, о брошенных детях, о разграбленных складах. Но он знал: сейчас не время для правды, которая звучит как поражение. Сейчас нужно говорить так, чтобы у вождя не опустились руки. Потому что если опустятся руки у Сталина — всё кончится завтра же.

«Паника есть, товарищ Сталин, — сказал Щербаков, глядя прямо в глаза. — Но она преодолима. Люди растеряны, потому что не знают, что происходит. Нужно выступить по радио. Сказать, что город не сдаёт. Что правительство остаётся. И что мы будем драться».

Сталин докурил трубку, выбил пепел в пепельницу. Повернулся к Молотову, который сидел в углу, бледный и осунувшийся: «Вячеслав, ты сегодня же подготовь обращение. Чтобы завтра утром народ услышал голос Москвы». Потом снова посмотрел на Щербакова: «А вы, товарищ Щербаков, наводите порядок. Жёстко. Берите под контроль вокзалы, остановите это безобразие. Исключайте из партии трусов и паникёров. Расстреливайте мародёров. Город должен работать». Он помолчал и добавил тише: «Я остаюсь в Москве. И вы остаётесь».

Щербаков кивнул. Никаких эмоций — только сухая, железная готовность. Но внутри у него что-то оборвалось и замерло. Он вдруг понял, что отныне его жизнь висит на волоске. Если Москва падёт, он падёт вместе с ней. Не будет эвакуации в Куйбышев, не будет второго шанса. Только победа или смерть. Другого не дано.

Вернувшись к себе на Старую площадь, Щербаков сел писать приказы. Он работал всю ночь, не поднимая головы. Сначала — распоряжение о немедленном возвращении на рабочие места всех руководящих работников, самовольно покинувших город. Тех, кто не вернётся в течение суток, исключать из партии и отдавать под суд военного трибунала. Потом — приказ о комендантском часе: выход на улицу запрещён с полуночи до пяти утра, нарушителей

задерживать, при оказании сопротивления — применять оружие. Потом — список предприятий, подлежащих первоочередной эвакуации. Завод № 22, «Серп и молот», подшипниковый, авиационный, автозавод имени Сталина — всё, что может работать на оборону, должно быть вывезено в Куйбышев, Свердловск, Челябинск, Новосибирск. Станки, люди, чертежи — вон из Москвы, на восток, подальше от немецких бомб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.